

НИКИТА КОРОЛЁВ

16+

НИКОГДА НЕ БУДУ
ЧАСТЬЮ
БОЛЬШОЙ
ИСТОРИИ

Никита Королёв

Я никогда не буду частью большой истории

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66974723

SelfPub; 2021

Аннотация

Большие истории... Они глядят к нам из прошлого, с пожелтевших от времени страниц, с маленького рябого экранчика. Или маячат где-то в тумане будущего, далёкие, недостижимые... Они ждут нас на последней станции пригородных электричек или в тихом дворике в самом центре города. Кажется, что Большие истории случаются только с Большими людьми, чьи имена высечены в граните величественных памятников. Но, если приглядеться, можно увидеть, что жизнь, с её повседневностью, встречами с друзьями и долгими прогулками, – это и есть Большая история. И мы все – её часть.

Содержание

Часть I: Дедовск	4
Часть II: Крестный ход	18

Никита Королёв

Я никогда не буду частью большой истории

Часть I: Дедовск

Мы гуляли втроём: Алиса, Прокофий и я. Оставили позади ароматный хлебозавод и шли вдоль станции МЦК. Чтобы дойти до ворот парка «Стрешнево», нам оставалось пересечь пути по воздушному переходу. С него же был вход на платформу «Ленинградская». Когда мы проходили мимо турникетов, Алиса подбежала к автомату с билетами и заявила, что мы просто обязаны куда-нибудь уехать. Время было чуть за семь. Мы вовлеклись в эту игру и стали выбирать станцию: Подольск, Нахабино, Опалиха. Прокофия, с его фамилией, привлекла Щербинка. Алису, с её происхождением, – Новоиерусалимск. Разглядев станцию «Дедовск» в расписании пригородных электричек, я вспомнил, что когда-то ещё в средней школе ездил туда к другу на дачу. Этот факт и стал моим аргументом, почему мы должны ехать именно в Дедовск. Мы метались между аппаратом и стендом с расписанием, производя много шума. Работники платформы своими острыми взглядами грозились нас разогнать. Поезда всё

уезжали и уезжали, а мы всё никак не могли договориться о станции и только всё озирались друг на друга – кто же из нас первый в этой игре дойдет до покупки билета. В конце концов Прокофий спасовал, сославшись на позднее время, так что мы решили перенести нашу авантюру на следующее утро, радовавшее внеочередным выходным. Но направление и время нужно было выбрать сейчас. Долго мы бодались, но в конце концов остановились на Дедовске, электричка до которого отправляется в девять тридцать. Алиса и я наперегонки стали создавать беседу-однодневку. Я был первый и назвал её «едем в дедовск» – всё с маленьких букв для нарочитой небрежности да ещё с таким ассонансом. После мы прогуливались по окрестностям, обкатывая идею: Стрешнево, Щукинская, Октябрьское поле. Её мы, правда, больше обсмеяли, чем обкатали: я рассказывал историю своего умопомрачительного пребывания у друга на даче в Дедовске да и вообще о том, каким отбитым уродом я прошёл всю среднюю школу. Там, на Октябрьском, мы зашли к Прокофию на чай, где к нашей беседе присоединился возлюбленный Прокофия. В сети он известен под именем мистер Монтег. Он на несколько лет старше Прокофия, но то, как последний суетился и лепетал, когда Алиса подначивала его пригласить Монтега на свидание в Дедовск, было очень мило. Названия беседы бурно сменяли друг друга: «едем в дедовск», «едем в звенящий дедовск», зевс съел дедовск», «дедовск обреченный», «The Walking Deadovsk», «Escape from Deadovsk»,

«Wake me up when the Dedovsk ends», «я не плачу – просто дедовск в глаз попал». Карусель слюнявого веселья остановилась, когда Алисе позвонили из дома и велели возвращаться. Я проводил её до дома. Пока мы шли, я перевёл разговор с этого фарса про Дедовск в серьёзное русло, чтобы не пришлось идти молча с перезрелыми улыбками, когда тема себя исчерпает. Но разговор нахмурился сверх меры, так что закончили мы на шрамах на запястьях и смерти родных. К полуночи в нашу тургруппу вошли ещё двое: 104-ый и Колючая. Её я пригласил из чувства вины за то, что весь день не отвечал на сообщения, его – чисто поржать. Беседа обрастала мемным фольклором: форма правления в Дедовске – дедовщина, учителя, которые что-то неразборчиво мямлят себе под нос на самом деле просто говорят на дедовском диалекте, так как именно в Дедовске, в этом оплоте древнейшей цивилизации, появились первые школы и университеты, едем в Дедовск на бронепоезде, граждане Дедовска – дедки, гражданки – дедочки. На обложке беседы уже красовался герб Дедовска. Поездку пришлось ещё чуток сдвинуть – Алиса должна была петь с утра в церковном хоре. Под графой «Dead news» я оповестил всех о новом времени отправления – одиннадцать тридцать. Пришёл домой я только к двенадцати. Ноги непривычно сильно ныли, внутри было холодного и липко. Подумал, что заболеваю, но сил не было, даже чтобы уснуть. Однако к половине третьего я укрылся рыхлой тяжестью завтрашнего дня и кое-как провалился

ся в сон. Проснулся я на удивление свежим и отдохнувшим. Умылся, собрался и вышел. Пришли все, кроме 104-го. Мои сообщения безответно синели, так что мы поняли, что можно не ждать. Билет стоил 69 девять рублей, и я произнёс вступительное слово о том, что в этой жизни перед человеком всегда стоит нравственный выбор: поесть ли ему нагетсов в Бургер Кинге или же поехать в Дедовск. Электричка была пустой, за окном размякала брошенная стройка, укутанная туманом. За одну остановку до Дедовска машинист объявил о конечной, и мы вышли на дощатый и протекающий перрон-инвалид, сдвинувшись под сдавленные смешки от опасного вида чеченов на его середину. В следующей электричке прошли контролеры. Мои руки тщетно рылись в карманах, и я понял, что, возможно, выбросил свой билет на платформе. Женщина-контролёр вела себя странно: с одной стороны, вроде, и помочь пыталась, говорила, какие карманы проверить, с другой – так посмеивалась, что лучше бы сразу оштрафовала зайца. Одним словом, пригородная романтика. Карты она не принимала, а платформа за окном плыла уже все медленнее, но ребята скинулись мне на ещё один билет, после чего мы выскочили из поезда.

Вокруг был Дедовск. Одиноко высилась панельная многоэтажка – бледно-жёлтая, пыхтели кирпичные трубы вдоль путей – буро-красные, но цвета эти видел глаз, отстранённый от сердца, тогда как на самом деле всё вокруг было безнадежно-серым. Алиса, пошарив по карманам, объявила, что

тоже потеряла свой билет. Пошли разные версии: билеты делают из растворяющейся бумаги, и это всё магия Дедовска. Мистер Монтэг сказал, что в таком случае намеревается держать свою зеркалку в магияустойчивом чехле до конца поездки. Кое-как мы объяснились с работником у турникетов и вышли с платформы. Нас ещё какое-то время сопровождала ущербная переходная торговля, после чего начался лабиринт ржавых дворов, барачных домов и выбоин в асфальте, напоминавших своей формой то место, откуда мы все явились на этот свет. По сторонам грустили рядки артритных деревьев, их ветви раскинулись по небу как сосудистые звездочки на старческих ляжках. Попрошаек нигде не было, потому что и просить было не у кого. Ноги несли нас в случайном направлении. Мы гоготали, тыча пальцами во всё подряд, но смех наш скрёб по здешней траурной тишине ржавым гвоздем. Миновав лабиринт, мы вышли к пруду с патлатым островком посередине. В нём плавали утки, но и они были настолько унылыми, что казались ненастоящими. За прудом показался храм. На его территории, на уже доживающей своё лужайке, росли два костлявых кустика. Табличка возле них гласила о том, что их посадили двое каких-то важных священнослужителя в две тысячи восемнадцатом году. На нас незаметно опустилась мрачная задумчивость. Колючая прервала её словами о том, что Кинг списывал свой городок Дерри именно с Дедовска. Все оживились и стали плести этот фарс с разных концов. Я развернул это в целую исто-

рию о том, что Дедовск мы выбрали совсем не случайно, как нам кажется. На самом деле все мы выросли в нём и забыли об этом, но пришла пора, и мы, спустя много лет, влекомые интуицией, вернулись в свой родной городок, чтобы расправиться со злом, поселившимся здесь ещё в начале времён, и все это было лишь частью предопределенности. Мистер Монтэг представил мои слова публике как лекцию о детерминизме. Прокофий же сказал, что теперь понятно, кто так и не решился встретиться лицом к лицу со своим прошлым и кого мы только что поминали. 104-ый до сих пор не прочитал мои сообщения. Мы пошли в храм ставить за него свечку. В храмах меня всегда посещают двойственные чувства. Первое время это мечтательная одухотворенность: всё мирское выходит из меня, и мне становится стыдно за демагогию моей светской жизни и потакание амбициям осиротелого мира. Но затем, когда я уже почти склонил голову в высоком смирении, что-то толкает меня в плечо и говорит, что это не выход, а только карцер в тюрьме. Я пытаюсь откреститься от этого, ещё отыгрывая христианский восторг, но тщетно. На ум приходят семинаристы, поголовно занимающиеся запястным творчеством и маразм РПЦ, и всё это благолепие киснет в осознании того, что Богом здесь и не пахнет, хотя пахнёт, безусловно, очень недурно. Наверное, моя душа неспасаема. Слева от алтаря страдальчески смотрела со стены последняя царская семья. Кто-то всучил мне стыдные мысли о Матильде да и вообще о каждом из семьи: о пылкой

юности старших дочерей, об озорстве маленького цесаревича. Должно быть, в этих церковных нарядах им ужасно тесно, но все они сейчас были надежно заламинированы под своей новоиспеченной святостью. Очищенные, блаженные и мертвые. Все мы поставили по одной свечке и собрались у алтаря, где в стеклянной коробочке, на маленьких серебряных крестах, под линзами покоились мощи трёх монахов. Они походили на крохотные экземпляры органической ткани из моего детского наборчика с микроскопом. Ниже было описание. Первый всю жизнь ел только перед заходом солнца, – да и то одни лишь отруби – и видел ангелов. «Может, оттого он их и видел, что мало ел» – опять ткнул меня Лукавый. Второй отличался безупречным образом жизни и усердно поднимал свой сан, начиная с тысяча семьсот девяносто девятого года. Но все знают этот год по совершенно другому событию. Далее приведены даты с разрывом в несколько лет, констатирующие восхождение монаха по лестнице церковной иерархии, однако история запомнила эти даты по другим причинам. Монах умер в 1957-м году, через год после коронации Александра Второго. Третий монах питался только хлебом с водой и обладал даром целителя. За монашеский подвиг, выстраданный и выголоданный, был причислен к лику святых. Но кому сейчас нужен этот подвиг? Пустой церкви или кусочку кожи под линзой? Как только мы вышли из церкви, мне написал 104-ый. С ним было всё в порядке – он просто проспал. Сказал, что попробует успеть на электричку че-

рез час. От церкви мы двинулись в случайном направлении. Улицы стали длиннее и шире. Прямо у дороги догнивала заброшка. Больше ввысь, чем вширь, она напоминала смотровую башню. Мы решили её осмотреть. По какой-то сугубо дедовской иронии она примыкала к ещё действующему департаменту дезинфекции. В заброшке была только пара комнат и лестничный пролёт, открытый всем ветрам и ведущий в никуда. На нижних ступеньках стояла рамка от телевизора, показывающая всё, что было за ней. Я водрузил её на подоконник между двумя лестничными маршами, и мы сделали концептуальные фотки. Для Прокофия с мистером Монтэгом мы устроили целую фотосессию. В камеру никто и не думал смотреть, так что получилось по-дедовски мрачно. Оттуда мы отправились на поиски еды. Намеревались посетить ресторан «Las Dedovsk», но когда до него оставался один поворот, нам подвернулась «Додо-пицца», которую мы, конечно, окрестили «Дедо-пиццей». Внутри всё было несуразно чисто и опрятно. Умытые окна в высоком качестве показывали размусленный бульдозерами пустырь. В России есть сетевые рестораны, но сетевых городов, к сожалению или к счастью, ещё нет. Мы сделали заказ и сели за стол, по очереди уходя за готовой едой. Кто-то выгружал сделанные в заброшке фотки, кто-то уже ел, мы же с мистером Монтэгом говорили о времени. По его впечатлениям, мы попали в прошлое России. Или в её будущее. Но всё вокруг будто сошло с плакатов в стиле советского ретрофутуризма и про-

питано романтикой прошлого. Я отвечал, что романтика эта ощущается только издалека, а сами мы не ощущаем эпоху, в которую живём. Вернее, у нас перед глазами нет её законченного образа. Он очерчивается только по прошествии эпохи. Потому мне так нравится смотреть старые концерты, но мой взгляд завораживает не только сцена, но и темнота за ней, в которой копошится толпа. В их одежде, поведении, движениях я вижу кусочек неотретушированной живой жизни того времени. Найти такую запись – все равно что откопать секретик советского ребёнка. Всего лишь фантик или пуговица под стекляшкой – многого за душой не имели, – но какой трепет вызывает мысль о том, как давно это было. И эта прелесть ведома только тебе, человеку на вечнорастущей крыше времени, наблюдающему за затвердевшей жизнью там, внизу. Но всегда будут те, кто посмотрит на тебя сверху, когда твоя жизнь и жизни тех, кого ты любил или ненавидел, застынут, потеряв живительный огонь, когда бодрость и решительность сменятся вялостью и дряхлостью, и время подомнёт нас под себя своими бесстрастными жерновами. Вечная изменчивость жизни спасает нас от отчаяния, но она же нас и губит, обтачивая и размельчая. Я достал телефон и стал искать концерт Nirvan'ы, отгремевший в Хеллоуинскую ночь девяносто первого года и снятый на шестнадцатимиллиметровую пленку, то есть как настоящее кино. В самом начале показывают, как люди стекаются к театру «Paramount» в Сиэттле. Оператор идёт вместе со всеми через

поток машин, остановившийся на переходе. Мимо, улыбаясь камере, проходит кудрявая девушка с большими чёрными глазами. Возможно, сейчас она уже чья-то бабушка или её и вовсе нет среди живых, но в этом кадре она настолько очаровательна, что я каждый раз ставлю на паузу, чтобы разглядеть её получше. Парень во фланелевой рубашке и с русой шевелюрой стоит у кассы, сложив руки в мольбе – на стекле висит непреклонный «Sold out». Некто в чёрной кожанке сидит на столбе, свесив ноги в тяжёлых ботах. Уже в зале под рёв толпы выходит Курт и быстро машет всем рукой, Дейв поздравляет всех с Хеллоуином, Крист заливает зал контрольной басовой нотой, и начинается первая песня, напоминающая разбег неистовой волны. Боясь, что уже начинаю докучать мистеру Монтэгу, я остановил видео и погрузился в свои мысли. Интересно, что с восемьдесят девятого по девяносто четвёртый годы Курт Кобейн успел записать три альбома, покорить весь мир своей музыкой и умереть. Моя мама успела за эти годы получить первое высшее образование, чтобы понять, кем она точно быть не хочет. Надо было выдвигаться навстречу 104-му – он написал, что уже подъезжает. Я увидел, что Алиса оставила корки от пиццы, и решил взять их с собой, чтобы покормить ими птиц. Мы шли обратно к платформе. Вдоль тротуара тянулась неглубокая раскисшая канава, заканчивавшаяся трубой на повороте дороги. Возможно, сбежав из Шоушенки, Энди вылез из неё, но огляделся и пополз обратно. Пара корок выпала

из моих трясущихся от смеха рук, но в целом добрались мы до платформы в целостности и сохранности. Состыковавшись со 104-ым, мы направились в музей мироздания. В Википедии из местных достопримечательностей был указан только он. Минут десять ходьбы, и мы оказались в районе более-менее жилых девятиэтажек с молодящимся двором, дымящим новым асфальтом. Однако этот островок благоденствия плотно стягивало кольцо рухляди разной степени разложения. Изгороди недосчитывались большинства зубов, дома будто до сих пор не разогнулись после хорошего такого леща. Рабочие зачем-то ковыряли дряблую землю. Я сказал, ни к кому особо не обращаясь, что надо бы у них спросить, как нам пройти к музею мироздания. 104-ый ответил, что не знает их языка. Впрочем, никто не знал, так что мы предпочли пройти мимо. Лавируя меж жужжащих и долбящих бандур, мы не заметили, как обошли квартал по кругу и уже пошли на второй. «Мы ходим кругами» – сказал я. «Нужно внимательнее осмотреть, мы его пропустили» – был мне ответ. Я сделал предположение, что необходимость пройти этим путём ещё раз нам навязана здешними гипнотическими вышками, тогда как мы, возможно, уже стали частью декорации и просто курсируем по строго заданным траекториям, подобно остальным жителям Дедовска. Возражать никто не стал. Координатная точка указывала на тот многоквартирный одуванчик, возросший среди казарменных сорняков, и мы фантазировали, каким может быть музей мироздания в Дедов-

ске и что в нём представлено. «Это, должно быть, однушка, в которой на голом полу свалены украденные мощи великих князей» – предполагал я. «А по ней на коляске ездит престарелый Гитлер» – добавил мистер Монтэг. Но все мы сошлись на том, что сам Дедовск – это и есть музей мироздания, а в пункте назначения нас встретит зеркало. Но затем, когда мы уже сделали полукруг, оставив квартал позади, кто-то додумался посоветоваться с Интернетом, и всё оказалось куда прозаичнее – мироздание закрыто на реконструкцию. Небо по-осеннему незаметно темнело. Расстроенные, мы опять доверились нашим ногам. Вскоре они вывели нас на узкую дорожку вдоль шершавого забора с народным творчеством с одной стороны и заглохшим садом – с другой. Забор оборвался, и за камышами распростерся широкий пруд, напоминавший воронку от метеорита. Вода была цвета пыльных изумрудов. Там, где камыши расступались, бутылки терлись своими брюхами о лохматый берег. В воздухе пахло гнилыми яблоками и вечным покоем. Мир во круг, растворяясь во тьме, слезился, оттого стекленели глаза и ныло в груди. За прудом, сквозь мозаику щуплых веток тянулся сизый язычок костра. Вокруг был двухэтажный Дедовск, тихий и смиренный. Мы встали у края покатога берега, возле бетонной плиты, под которой к воде ползла наевшаяся помоями труба. По водной глади скользили утки, резко и бессмысленно сменяя направление. Я оторвал кусочек от корки пиццы и бросил в воду. Он моментально оказался в

центре внимания. Я раздал корки всем остальным. Маленькие пернатые лодочки таранили друг друга в бока и на всякий случай гоняли тех, кому и так ничего не досталось. Те же, кому доставалось, щёлкали клювами и дергали головами, проталкивая в себя еду. 104-ый метил одной особо храброй, суевающейся у самой суши, в голову, но попал лишь в тростинку возле неё. К их кряканью примешивался какой-то надрывный свист, но галдёж этот звучал ровно и даже певуче, словно хорошо отстроенный оркестр. Корки быстро закончились, и мельтешение в воде после ещё двух запоздалых щипков увяло. Утки будто снова потеряли смысл жизни, на мгновение промелькнувший перед ними, и продолжили дрейфовать. Но вскоре кто-то будто бы наклонил весь пруд, и всех их потянуло к другому берегу, и нас вместе с ними. Птицы взмывали из дальних кустов и шли на бреющем полёте, шлепая крыльями по воде. Бабушка, мама и совсем маленькая дочка – все в рыночных пёстрых пуховичках – разламывали батон белого и раскидывали его над водой. В моё опустошенное истерическим смехом тело заползала липкая темнота, но я не был против.

– Нет, доча, это очень большой кусочек, нужен поменьше... Нет-нет, не бросай так сильно, они испугаются – наставляла мама.

Утки возились в прибрежной каше, взбираясь по откосному берегу и сваливаясь обратно в воду. Девочка забвенно управлялась с хлебом.

– Вот как только они к тебе привыкнут, как только поймут, что ты не сделаешь им плохо, так к тебе прямо на ручки полезут. Надо только их прикормить, – подбадривала её бабушка. Ребята уже давно ушли вперёд.

– Смотри, это мандаринка – мама указала дочке на растрепанную утку, которой, наверное, очень бы и хотелось быть цветастой мандаринкой в дышащих паром водах Японии. Только она не была мандаринкой – она была уткой в пруду на окраине Дедовска. Я поднял голову к металлическому небу. Вдали млели пыльные кубики, которые беспечный ребёнок здесь когда-то бросил и забыл про них, а позже их заселили маленькие и несчастные мыши. Мне было очень больно, и больше всего хотелось заплакать. Лицо моё скривилось, глаза намокли, но не скатилось ни слезы. Я знал, что не заслужил облегчения.

Сегодня я никуда не пошёл, проспав четырнадцать часов к ряду. Пишу, стоя перед дверью на общий балкон. В ней есть маленькое окошко, через которое видно всю Москву. Космос чарующих огней, пульсация дорожных артерий. Я дышу на стекло и погружаю этот город во мглу. Но запах лестничной клетки (мусор, штукатурка, сигареты) быстро отрезвляет меня от фантазий, а город за растаявшим пятном продолжает жить своей жизнью.

Часть II: Крестный ход

В субботу Мистер Монтэг написал мне, что ему приснился Дедовск, и предложил совершить новую спонтанную поездку в какой-нибудь «усть-замкадьевск». Вообще-то с нашей последней поездки в Дедовск полтора года назад мы ещё несколько раз порывались куда-нибудь так съездить; один раз даже получилось – в Чертаново, в гости к Пелевину (нам, разумеется, не открыли), – но после некоторой любовной язвы, открывшейся в нашей экспедиционной группе, компания как-то расстроилась. 104-го больше нет с нами, потому что он познал радость первых отношений и «откис»; Колючей больше нет с нами, потому что она призналась в своих чувствах, но я деликатно отказался: сначала от любви, а потом – и от дружбы; и даже Прокофий, видимо, тоже из-за каких-то романтических терзаний, удалился из ВК, и теперь его звали DELETED. Любовь всё-таки – та ещё химоза; ей, кажется, можно пробивать трубы или растворять трубы. Впрочем, прошло время, поражённые участки аккуратно ампутировали, култышка затянулась кожей, и компания вновь собралась на поиски приключений – собралась, как и тогда, на станции «Стрешнево».

Поезд до Истры отходил в половину двенадцатого и, как всегда, завозившись дома, до станции я бежал. Мистер Монтэг и Прокофий ждали меня у билетных аппаратов. Мы

поздоровались, немного похихикали над моим «совершенно непредсказуемым» опозданием, купили билеты, спустились на платформу и сели в подошедшую как раз электричку.

Когда пришла моя очередь рассказывать про свои дела, я, поведав о тяжёлых буднях писателя, достал две свои недавно отпечатанные и подписанные второпях перед выходом книжки и раздал ребятам. Они заскромничали, книги всё никак не шли у меня из рук и, приподнявшись, я сказал, что сейчас тогда пойду по вагону торговать книжками, после чего у меня их всё же взяли.

Мистер Монтэг, сейчас уже студент журфака РАНХиГС, спросил меня про мой писательский ценз и, как обычно, ударился в пространные объяснения причины своего вопроса: у них, мол, есть такой предмет «Критическое мышление», на нём они свободно воспаряют мыслью, выписывая всё, что приходит в голову, и Монтэг понемногу вникает в литературное дело, но ещё только ищет свой метод работы, поэтому вопрос: как (в самом техническом смысле) я пишу? Ну, я объяснил, что, если раньше я писал вообще без каких-либо цензов, каждый раз мысленно взваливая на себя весь замысел целиком, загоняясь, уваливая от письма и откладывая его на потом, то сейчас я научился есть слона по кусочкам, видеть в лесу отдельные деревья, а мой ценз – чтобы к концу дня экран планшета сверху донизу наполнился буквами; больше – хорошо, меньше – тоже можно. Поскольку мои спутники, одетые во всё чёрное, начали таять под светившим

в окно солнцем, мы пересели на лавку с противоположной стороны.

Объявили станцию «Дедовск» и не соврали: на нас и вправду, коварно замедляясь, надвигался этот злосчастный городок. Мы не могли определиться, как нам себя вести: то ли почтить его минутой молчания, то ли, наоборот – ни за что не умолкать, потому что именно этого он бы хотел от нас. Но на деле от нас он хотел только билетов: на станции в электричку зашёл контролёр, лысый бородатый мужик в маске. Мы встретили его бесстрашно, а зря – Монтэг и Прокофий оформили два билета на одну социалку, и этот номер не прокатил. Контролёр предложил нам купить ещё один билет, но у нас не было наличных, поэтому нас попросили на выход. Монтэг, уже из-за спины, буркнул что-то про потраченные деньги, на что контролёр ответил, что, если хотим, он может штраф выписать, тысяча триста рублей. Уже в дверях и во весь голос я пустил в ход рифму про тракториста, а Монтэг тихо, с его обыкновенной незлобной злобой, предположил, исходя из слишком ровной бородки блюстителя порядка, что у того просто не сложилось перед этим с машинистом – вот он и бесится. Так или иначе, мы оказались на какой-то станции за две до Истры и решили попробовать дойти до города пешком.

Мы спустились с платформы и, следуя линии в навигаторе, миновали обнесённый сайдингом дом, в котором ютился дикорастущий «Wildberries», и пошли дворами, мимо ни-

зеньких кирпичных коробок.

Я вдруг понял, что ничего не понимаю, совсем не могу вникнуть в происходящее: в этот посвежевший воздух, в эту шелестящую на ветках молодую листву, в это ясное высокое небо и пасущиеся на нём пушистые облачка. Как будто не могу это вкусить, распробовать – глаза только что-то видят, уши что-то слышат, а ноги куда-то идут. Монтэг тем временем рассказывал о своих делах: он пробует писать музыку для игр, познакомился с каким-то начинающим игроделом, и недавно у них был игровой джем – три дня мозгового штурма в «дискорде», за которые создаётся какая-нибудь копеечная «индюшка».

Мы прошли по детской площадке, на которой резвились дети; Монтэг, увидев их, философически воскликнул, что у них есть детство.

Пройдя площадку, мы оказались на небольшой автостоянке; сбоку белел куб трансформаторной будки, на котором выцветала, размывалась дождями и отколупывалась временем некогда пёстрая надпись «Победа».

Дальше цивилизация, питаемая железнодорожной артерией, усохла до одноэтажных дачных домиков, и мы ступили на землистую, кое-где присыпанную щебнем дорогу. Здесь мы наконец-таки поинтересовались у Прокофия о его делах. Конечно, как даму, мы спрашивали его об этом ещё в самом начале нашего путешествия; но тогда ответ остался где-то за страдальческой улыбкой и неловким бормотанием. Во мно-

гом, из-за того, что этот вопрос – как у Прокофия дела – за последние наши встречи пропитался такой насмешливостью и иронией, что серьёзно и обстоятельно ответить на него едва ли кому-то вообще было бы под силу. Всё потому, что с начала восьмого класса Прокофий особенно рьяно блюдёт триединую Ленинскую заповедь («Учиться, учиться и учиться!»), из-за чего его так называемая личная жизнь, со всеми её муками пера, кисти и медиатора, сошла на нет. Что, говоря откровенно, меня, как идейного прогульщика и вообще почти маргинала, немного огорчило. А, может, я просто завидую... «Радуйся, радуйся радости ближнего своего!» – приструнял я этого огорчённого, негодующего себя и вроде как даже в этом преуспел.

На этот раз Прокофию всё же нашлось что сказать: летом он пойдёт на интенсив по испанскому и литературе. И как бы я кого не приструнял, эти слова больно ранили моего внутреннего ребёнка, который, раз этот текст пишется, до сих пор безраздельно мной правит. Монтэг, зная об успехах Прокофия в испанском (тот, шутка ли, недавно сдал по нему международный экзамен), спросил, «торкает» ли его язык. Поскольку никто подвоха не заметил, мне пришлось самому, прерывая уже начавшего говорить Прокофия, обратить внимание на упущенную игру слов. Просто повторить её оказалось достаточно: после непродолжительного ступора Монтэг удалился на поляну за густыми зарослями в стороне от дороги.

И как всё-таки приятно иногда из Базарова превратиться в Ситникова! Даже если первым ты никогда и не бывал.

Что-то утешительно улюлюкая, через пару минут мы всё-таки вернули Монтэга и пошли дальше. У Прокофия нашлось ещё что рассказать: он наконец-таки определился со своим дальнейшим поприщем – он хочет стать кинооператором. По его словам, это и не писательство, и не художество, где у него сплошные застои – он просто будет глазами зрителя. К этому моменту мы уже вышли к большой и шумной дороге, Волоколамке, вдоль которой, как показывал навигатор, пролегал весь наш дальнейший путь. Увлечённые беседой, мы не увидели в этом проблемы и зашагали по пыльной обочине.

Стараясь не прослыть занудой, я сказал, что все застои в голове, что, если они есть в одном месте, они будут возникать везде, но есть и мнимые желания, которым и нормально не воплощаться, и так далее. На слова же Прокофия о том, что не быть ему ни писателем, ни художником, я возразил, что зарекаться на этот счёт уж точно не стоит, потому что это далеко не только от него зависит. Монтэг подтвердил мои слова, процитировав Быкова: «Мимо жопы не сядешь». Отсмеявшись, мы наконец поняли, что по этой дороге мы придём не в Истру, а, скорее, в онкологический центр, поэтому развернулись и направились к той станции, на которой сошли.

После некоторого смятённого молчания Мистер Монтэг попросил меня рассказать одну историю о продвижении соб-

ственной музыки, которой я как-то заинтриговал его в личном разговоре. Ну, я рассказал: постучался однажды ко мне в личку мелкий рекламный бес, а я купился, впустил его, так сказать, в своё сердце, заплатил ему пятнадцать тысяч за полный апгрейд проекта... Ну, апгрейд-то какой-никакой был, а вот реклама... «Но да об этом в конце» – сказали во мне остатки стыда, и я заговорил про концерт, организованный этой шарашкой, тоже сплошь надувательский. Говорю, мол, всем музыкантам поучение: ну не думайте вы, что, если в интернете, где поддержать можно кликом мышки, вас никто не поддерживает, это сделают на концерте, куда ещё нужно переться на своих двоих.

И пока я поучал, Монтэг вдруг предупредил нас, чтобы мы ни в коем случае не смотрели направо. Я, разумеется, посмотрел и увидел тело бежевой дворняжки, уже поднадувшееся, как напитанная водой вата, лежавшее на обочине в навязчивом обществе мух. Кажется, именно они, мухи, больше всего и пугают меня в таких случаях; с каким-то неожиданным для себя испугом я отскочил на другую сторону дороги. Прокофий в этом плане оказался куда более послушным и, как и было велено, направо не посмотрел. На его вопросы *что там* мы отвечали что угодно, кроме правды.

Впереди показались уже знакомые кирпичные коробки, и вскоре мы снова очутились на станции. Чисто для проформы мы заглянули в кассу, но та не работала, поэтому мы решили, вернее, просто смирились с тем, что эти пару станций

до Истры проедем зайцами.

Уже в поезде я достал телефон и показал, в чём же всё-таки обстояла реклама от «Black Star», как мы условно обозвали эту злосчастную контору: посты в различные «Подслушано» по типу: «У меня разбился градусник, не подскажите, чем собирать ртуть?», а ниже – наша песня. Вот и вся реклама. Все смеялись как-то стыдливо: ребята – переглядываясь, словно боясь меня обидеть; я – зная, что, конечно, больше всего и всех смеху подобен именно я.

Наконец объявили Истру, мы сошли с поезда, уткнулись в турникеты на выходе с платформы, вернулись, прыгнули на пути (каждый прокричал что-то религиозное), прошли по тропинке вдоль забора, широко и бессовестно протоптанной, миновали автовокзал, вежливо помотав всем «такси-таксистам» головой, и вверили себя случайности. У цилиндра-афиши с анонсами местных театральных представлений мне позвонила мама, я объяснил где я, как и почему (когда я уезжал, она ещё спала), и мы двинулись дальше.

Я всегда удивлялся тому, что у таких маленьких городков словно бы нет смыслового центра: ты просто идёшь мимо высоких рыжих новостроек, магазинов, остановок, парков, ТЦ, пока не оказываешься на пустыре или границе леса, тогда как город, будто счастье, не успев показаться, остался где-то позади.

Монтэг рассказывал о своих намерениях походить летом по каким-нибудь квартирникам, чтобы понемногу привы-

кать к сцене и публике. Условились как-нибудь вместе выступить.

Мы пересекли перекрёсток и, продолжая идти прямо, стали спускаться по дороге, уходящей под небольшим уклоном вниз, мимо старых, ещё царских времён, одноэтажных домиков.

Разговор всё вился вокруг музыки: мы говорили о сценическом страхе, со светлой грустью вздыхали по прошедшим концертам, и я пытался нравственно оправдать свои полигамные отношения с барабанщиками, мол, пусть с нами играет кто хочет, главное, чтобы музыка звучала. Прокофий, тихонько вмешавшись в разговор, отпросился в магазин, мимо которого мы в тот момент проходили. Закупиться решили все, и из магазина каждый вышел с мороженым.

Вдали за деревьями засверкала куполами белая, окружённая белыми же крепостными стенами громада, и я сразу понял, что это Новоиерусалимский монастырь; мы были в нём примерно год назад с семьёй моего набожного дяди, когда жили у них на даче.

Мы перешли проезжую часть и зашагали по широкой, ведущей к крепостным воротам дороге. По бокам оставались попрошайки, церковные лавки и высоченные тополя. Мы меж тем сошлись во мнении, что нашим родителям очень повезло с нами, ходящими по воскресеньям в храм, причём так, что левая наша нога не знала, куда ведёт нас правая.

У ворот мы остановились, чтобы доесть мороженое. Хоть

мы понимали, что никаких указаний на этот счёт в Библии нет, мы всё же решили не искушать местную охрану. На позеленевшей от времени створке ворот висел плакат, стилизованный под крестное знамение и предупреждавший о террористической угрозе. Монтэга это очень позабавило; я же стал объяснять ребятам сакральный смысл христианского креста: вертикальная перекладина – любовь к богу, горизонтальная – к человеку.

С мороженым было покончено, я бегло перекрестился, ребята воздержались, и мы вошли на территорию храма.

Опрятный газон, плиточные дорожки, храм и крепостные стены, белоснежные, сияющие словно каким-то своим, внутренним светом, – всё это мне казалось фантастическим, а Монтэгу – фентезийным, игровым. Будто локация в MMORPG, как он сказал. Я долго искал в себе силы, чтобы наконец поделиться своими взглядами на веру, сильно изменившимися – вернее, просто появившимися – после прослушивания лекций отца Андрея Кураева, ныне расстриженно-го. Без лишних подводок я начал, мол, не могу больше верить во всё подряд, слизывать сливки самых умных духовных учений, хотя космополит на левом плече настоятельно рекомендует смотреть на всё шире, ведь религий – пруд пруди, и разве это уже само по себе не исключает истинность какой-то одной?

Я всё продолжал говорить в таком ироническом ключе, меж тем как поднявшийся ветер дул всё сильнее, унося мои

слова, пока я наконец не замолчал, уставившись с полубезумной улыбкой на Мистера Монтэга и как бы спрашивая его взглядом, понимает ли он смысл происходящего. Монтэг с такой же точно улыбкой, как у меня, проскрежетал: «Заткнись». Уже сквозь смех мы стали предполагать, что же будет дальше: может быть, ветер зашвырнёт меня на колокольню или поднимет вверх и шваркнет об землю? Так мы обошли храм почти по кругу и встали у входа. У Прокофия не было чем покрыть голову, я был в шортах, но мы всё же решили попробовать войти; я только повязал вокруг талии, как юбку, чёрную кофту Монтэга.

В прошлый раз, в разгар чумы, несмотря даже на Пасхальную пору, храм пустовал. Сейчас в нём было почти так желюдно, как в Иерусалимском подлиннике. Мы прошли мимо прилавка с «мерчём», как его окрестил Монтэг, мимо подсвечников, свернули в арку, с двух сторон расписанную библейскими сюжетами, и оказались перед Кувуклией – часовней Гроба Господня. К ней стояла очередь, а желанием попасть внутрь, кажется, никто из нас не горел, поэтому мы зашатались по храму, задирая голову к высоченному потолку и останавливаясь у грандиозных фресок. Возле одной из них Монтэг поделился своим духовным опытом: каждый раз бывая в храме, он что-то испытывает, только вот что именно, он не знает. Мои наводящие вопросы этого чувства не прояснили.

Мы ещё побродили по храму и, пройдя мимо большой

гранитной плиты, неприметно лежавшей в углу, набрали на вход в какое-то подземелье. Сбоку висела табличка с надписью «Святой источник». Мы спустились по каменным ступеням и оказались в небольшом помещении с иконами, кандилами и небольшой угловой лавкой. Здесь мы купили пластиковые бутылки для святой воды, после чего спустились по ещё одной лестнице уже к источнику. Он располагался в маленькой комнатке, заставленной железными баками и сейчас заполонённой группой туристов. Экскурсовод рассказывала, что, когда в советские годы храм вместе с монастырём закрыли, источник почти пересох, на его месте долгое время была только грязная лужа, но, когда сюда вернулись монахи, он забил вновь, и сейчас воды хватает всем даже на Крещение.

Мы наполнили бутылки, пропустили выходящих от источника людей, а сами остались ещё ненадолго внизу. Я продолжил свою речь о том, что в христианстве нет понятия сансары, потому как христиане не верят в то, что мир – заколдованный круг, которого вдобавок ещё и нет и из которого можно спастись в нирване. Монтэг же с Прокофием обсудили читаемую последним антиутопию некоего Панчина, науч-попá, который, как мне рассказали, ходил по разным оккультным собраниям и прямо на них развенчивал всю эту грошовую мистику; в книге же (названия не помню) Прокофию был интересен эпизод, когда на судах прибегали к помощи астрологов, гадалок и хиромантов.

Вдоволь словесно осквернив святой источник, мы поднялись обратно к угловой лавке, где я, уже охваченный праведным перфекционизмом, приобрёл три свечи – для себя, Прокофия и Монтэга. Они без лишних колебаний их приняли, и мы, поднявшись ещё выше, вышли из подземного придела.

Возле входа в него теперь стояла другая экскурсионная группа; рассказывали, что место, где мы побывали, – подземная церковь Константина и Елены, подразумевающая собой восточный склон Голгофы, куда сбросили крест после того, как с него сняли Иисуса. Император Константин спустя четыре века после библейских событий посылал экспедицию на его поиски, и, когда крест нашли, в том месте, как и здесь, забил источник. Мы примкнули к экскурсии, и всё в храме озарилось смыслами: тот чёрный булыжник, мимо которого мы проходили, оказался камнем поругания, где сидел Христос, облачённый в красную накидку, с терновым венком на голове, и выслушивал издевательские похвалы – такова была первая пытка, уготованная ему.

Затем мы поднялись по лестнице, где предполагалась Голгофа с крестом, сделанным ещё при патриархе Никоне; в военные годы его не успели вывести вместе с другими святынями, но нацисты, устроившие в храме военный госпиталь и гревшиеся церковной утварью, его почему-то на растопку не пустили.

Мы прошли через тяжеленные медные ворота, подарен-

ные храму, кажется, царём Алексеем Михайловичем (одно то, что их кто-то установил, уже можно почитать за чудо), и спустились по лестнице в лабиринт маленьких помещений с низкими потолками. Здесь же была гробница Никона, как нам объяснили, разграбленная. От неё остался только широкий каменный саркофаг. Над ним висела длинная вытянутая икона с изображением нескольких святых, среди которых был и Никита Столпник. Поняв, что лучше места не найти, я поставил свечку в ближайшее кандило.

Вместе с экскурсионной группой мы поднялись по лестнице и снова оказались под высокими потолками основного храма. Меня такая пространственная коллизия немного удивила, но потом я вспомнил, что всякий духовный путь кончается там же, где он начинается, и успокоился. Мы подошли к чёрной каменной плите под сводчатой сенью, и гид представил её нам: на ней лежал Христос в пещере, место в которой оплатил какой-то меценат-христианин, чей лик смотрел на нас со стены поблизости. Здесь можно было освятить нагрудный крест, положив его на эту самую плиту. Перед тем, как это сделать, я малодушно огляделся. Монтэга уже не было рядом – он, как шёпотом объяснил Прокофий, вышел поговорить по телефону. Терпя раскалённые иголки чужих взглядов (впрочем, вероятнее всего, воображаемых), я положил на зарядку свой крестик и через несколько секунд снял.

Ещё немного пройдя по храму, мы остановились в арке, расписанной фресками; гид посоветовал всем зайти внутрь

храма гроба Господня, рядом с которым мы стояли, и стал объяснять смысл изображённого на фресках. Одна из них посвящена событиям уже после воскресения Христа: фарисеи отстёгивают свидетелям воскресения за то, чтобы они говорили народу, что это апостолы украли тело своего учителя. А в это время сам Он, в небесном сиянии, окружённый ангелами, вполне по-терминаторовски надвигается на синедрион. Две пожилые женщины из числа слушателей ещё задали гиду пару казусных вопросов о благодатном огне, и на этом экскурсия закончилась.

Мы с Прокофием ещё немного побродили по храму, после чего наконец вышли на свет божий, хотя, если вдуматься, – во тьму дьявольскую. Монтэг как раз в этот момент закончил разговаривать, и мы двинулись к воротам, снова заведя наш давний пантеистический разговор.

Однако, только мы зашли за ворота, начался ливень, загнавший нас на крыльцо какого-то жёлтого здания. Его с нами делили ещё две девушки, как оказалось, француженки. Влекомый привычным желанием испытать себя и свой второкурсный французский, я хотел было заговорить с ними, расспросить, что они тут делают, да ещё в такое нелётное время, – но застенчивость и мнительность надёжно запечатали мой рот. Ограничился я лишь тем, что смешливым полущёпотом сообщил ребятам о национальной принадлежности наших товарищей по несчастью.

Дождь чуть поутих, и мы переместились под козырёк

хлебной лавки по ту сторону мощёной дороги. Туда скоро последовали и француженки, только в отличие от нас они всё же отоварились в лавке, объяснившись с продавщицей на довольно уверенном русском. Поняв, что погорячился, когда говорил о них в третьем лице в их присутствии, я поспешил спрятаться за спинами друзей.

Дождь полил на бис, захлестывая за козырёк, после чего стих уже окончательно. Тогда мы вспомнили, что давно не ели и, решив отобедать в церковной трапезной, направились обратно к воротам монастыря.

Перед белым одноэтажным зданием туалета, куда все зашли, мне позвонила мама, и обед, ожидавший нас в соседнем доме, отсрочился ещё минут на пятнадцать. Я рассказал маме о том, что мы встретили француженок, но не решился с ними заговорить. Мама укоризненно запричитала, после чего стала рассказывать историю из своей юности, как она раз и навсегда поборола свою робость: дело было в пансионате, она приглядела красивого парня, но заговорить с ним не решалась. Зато у неё там появилась подруга, Ира, и вот она была девушка, что называется, без комплексов и легко со всеми знакомилась. Мама стала активно у неё учиться, предчувствуя, что скоро Ира доберётся и до Паши, того самого парня. И вот однажды, когда две подруги шли мимо скамейки, на которой сидел Паша, мама собралась с духом и спросила его: «А что ты тут сидишь?». Так они и познакомились. Правда, не с моим папой, а за двух до него. Выслушав

эту историю, я сквозь насмешливый хохот сказал, что лучше уж буду и дальше молчать, скрываться и таить, чем гордиться такое. Мы ещё немного посмеялись друг над другом с едва различимой ноткой упрёка, и я повесил трубку.

Цены в трапезной были, скажем прямо, богохульные: гороховый суп и гречка с котлетками обошлись мне рублей в четыреста. Видимо, доплачивали мы за обстановку – она здесь была действительно благодатной и давала почувствовать себя чуть чище, чем ты есть на самом деле.

Мы поели и снова вышли за чугунные ворота монастыря – на этот раз уже насовсем.

Пока мы плавно спускались всё ниже и ниже по мощёной дороге в бранный дольний мир, Монтэг говорил, что впечатления от храма у него, как и всегда, какие-то странные, смутные, что их надо переварить. Впрочем, переварить нужно было не только их: после сытной трапезы ногам – по крайней мере, моим – ходилось тяжело.

Мы опять двинулись в случайном направлении. Шли по дорожкам, петлявшим по лесистым холмам, и говорили о моей книге «Друг» – отец Монтэга её прочёл и подтвердил, что это именно *книга*. Все неловкие вопросы о схожести лирического героя и автора остались висеть в воздухе.

Шли по железному мосту над какой-то заросшей рекой, поднимались по скалящемуся лестницами склону вдоль автомобильной дороги, и Монтэг рассказывал нам про свой недавний опыт работы фотографом на студенческой вписке,

и не только рассказывал, но и показывал, щелкая наиболее удачные снимки. Они были действительно удачными: хмельные, масляно-улыбчивые лица студентов окружало неземное голубоватое гало высокой выдержки.

Так мы дошли до станции «Новоиерусалимская». Увидев её, мы воспротивились столь раннему окончанию нашей поездки – время было, кажется, только ближе к семи – и решили пройтись по пыльной землистой дороге, уходившей от основной под прямым углом и ведущей, как нам казалось, в какой-нибудь посёлок. Начавшийся снова дождь чуть было не развернул нас, но, немного покрапав, он кончился, а мы пошли дальше, вдоль сплошных металлических заборов, за которыми высились уродливые, изъеденные временем промышленные бараки. Но шли мы недолго, потому что вскоре поняли, что дорога это не ведёт никуда, кроме как на грязные задворки трудовой жизни. Развернулись и двинулись обратно – к станции «Новоиерусалимская».

Ожидая электричку, говорили о моей новой книге, которую я подарил ребятам ещё вначале поездки, и о важности выбора правильных имён для персонажей: мол, авторы путают имена одних и тех же героев уже на следующей странице просто потому, что называют их абы как, без особого смысла, хоть даже сугубо личного.

Уже сидя в поезде, слушали рассказы Монтэга о РАН-ХиГСе и его обитателях, о зачётных в сугубо академическом смысле злоключениях и студенческой жизни вообще (а точ-

нее – об её отсутствии).

Путь обратно, как всегда, оказался короче пути туда, и, очнувшись от разговора, мы вышли на станции «Стрешнево», чтобы пройти через наш зачатый парк к дому Прокофия на Октябрьском Поле.

Солнце спряталось за росшими вдоль путей деревьями, окрасив небо в розово-персиковые, будто стены в старой детской больнице, цвета.

Мы шли по парку и, каким-то образом переключившись на тему пейнтбола, осуждали тех, кто из-за гнойной ностальгии по старым добрым мохнатым и клыкастым временам в него играет.

На выходе из парка почему-то вспомнили про Познера, и Прокофий сказал, что видел его в Доме Музыки, на концерте, посвящённом столетию... «Познера?» – перебил своим вопросом Монтэг, и все посмеялись: мы – отчаянно, уже и не надеясь на прощение после очередного посягательства на рассказ Прокофия, а Прокофий – улыбочиво закипая.

Весь остаток пути я делился впечатлениями от просмотренной мной документалки про Билли Айлиш, прихорашивая этот, в сущности, детский лепет умными казёнными словами.

У самого дома Прокофий, как обычно, пригласил нас зайти, и мы, как обычно, немного поёрничав – мол, как неожиданно, – согласились и вошли в маленькую, тесную, как хоббитова нора, но такую же, как она, уютную квартиру на пер-

вом этаже, по которой дымчатыми облаками плавали три огромных кошки: два мейн-куна и одна старательно под них передающая.

Пили облепиховый чай, ели приготовленный отцом семейства ужин, разговаривали с сестрой Прокофия, слишком нормальной для нашей компании, пытаюсь всё же вовлечь её в наше веселье, и всё это, как обычно, было лишь прелюдией к квартирнику, когда к каждому из нас поочерёдно переходит в руки гитара. Из необычного было только то, что Монтэг воздержался от исполнения, сославшись на усталость, и завершили концерт мы, не дожидаясь, пока это деликатно сделают родители.

Часов в двенадцать мы с Монтэгом вышли в тёплую бархатистую темноту майской ночи и побрели домой нашим привычным маршрутом – через старые, укрытые уже распушившейся листвой дворики, вдоль широкой дороги на улице Народного Ополчения, смолкшей в этот поздний час до шестеста одиноко мчавшихся машин, через переход МЦК, словно забытый здесь инопланетянами, и наконец мимо молчаливых сталинок с круглыми оконцами под самыми крышами, таившими за собой, как мне всегда казалось, бездну историй, которые и за целую жизнь не переживёшь...

Войдя во двор Монтэга и по опыту прошлых раз притихнув, чтобы не потревожить соседей, мы договорили всё недосказанное, расставили все точки, у которых так и резались загогулины запятой, и распрощались.

Я шёл домой через Посёлок Художников, и всё вокруг – эти домики, утопавшие в зелени, этот далёкий гул никогда не спящего города, этот воздух, напоенный цветочной дремой, и эта ночь, переполнявшая грудь какой-то босой неумной свободой – было настолько красиво, что мне стало обидно, как никогда прежде обидно, что всё проходит и пройдёт: и эта ночь, и это ещё не начавшееся даже лето, и Посёлок, который однажды всё-таки закатают, как останки чернобыльцев, под бетон, – и я. Мне стало холодно, но это был нежный, остужающий холод. Сердце сдавила тоска, но это была самая сладкая и упоительная тоска из всех возможных. Я подошёл к деревянному забору, над которым нависала ветвь сирени, привстал на цыпочки и, как, ребёнок, прижимающийся к груди матери, уткнулся носом в душистое соцветие.